

ВОСПОМИНАНИЕ О М. П. ГЛИНКЕ

...Глинку я видел у Н. В. всего два раза. Во-первых, в декабре 1848 г., вскоре по возвращении в Петербург после четырехлетней отлучки*, он приехал погоревать о смерти Пл. Вас. Кукольника, которого искренно любил; и второй раз весной 1852 г., когда он заехал после [...] концерта [...] поделиться с Н. В. впечатлениями, произведенными на них этим концертом¹. Оба восторгались пением и талантом М. В. Шиловской и оркестровым исполнением «Хоты»² и в особенности «Камаринской», причем он сказал, что сам в первый раз слышал ее в оркестре. Из его отзывов о Шиловской мне показалось, будто о ее таланте он мало чего знал до этого времени. Впрочем, может быть, я ошибся. На вопросы Кукольника о дальнейших его музыкальных планах и не имеет ли материала для какой-нибудь новой оперы: — «нет, нет, спасибо», — заговорил Глинка, не о прятная постановка «Жизни за царя» на императорской сцене³ и совершенное забытие его «Руслана» глубоко его огорчали, и он уверял, что этим «совершенно отбили у него охоту писать для театра»**.

К. П. Брюллов давно разошелся и почти разнакомился с Глинкой, как я слышал тогда, из-за каких-то карикатур, в которых Брюллов изобразил его в неприличном и даже непозволительном виде. Насколько это правда, не знаю.

П. М. КОВАЛЕВСКИЙ

МИХАИЛ ПВАНОВИЧ ГЛИНКА

Было время, когда в понятии русского общества поэзия, живопись и музыка воплощались в тройственном созвездии Кукольника, Брюллова и Глинки. То было братство творцов, соперничавшее в превосходстве и помогавшее друг другу его достигнуть. Кукольник, по собственным словам, нарочно выводил из терпения Глинку, бракуя то, чем он приходил ему хвастаться, и таким приемом вызывал его на достижение совершенства.

— Скверно, Мишенька! говорю бывало (рассказывал Кукольник). Можешь сделать лучше, коли захочешь.

— Не могу и не хочу! и тебя знать не хочу! Не приду тебе показывать никогда больше!

— Ой, придешь, Мишенька! ей-богу, придешь! сделаешь гораздо лучше — и непременно придешь!

Через несколько дней и точно приходит.

— Ну, слушай теперь, — говорит, — в последний раз пришел. Скажешь: скверно, — никогда больше ничего от меня не услышишь.

* Это в первый раз в моей жизни. Когда он позвонил, я сам открыл ему дверь, так как лакея на ту минуту не случилось. Видя его в первый раз и не зная его в лицо, я принял его за какого-нибудь иностранца и спросил по-французски, что ему угодно? Он комически важно расшаркался и отрекомендовался: «ancien facteur de musique Michel Glinka» [старинный поставщик музыки Михаил Глинка]. Я тоже рекомендовался. Тогда он сердечно пожал мне руку и спросил по-русски: «Можно видеть Нестора?» (Из моей записной книжки). — Примечание И. А. Пузыревского.

** На это Кукольник сказал свое обычное: «Миша, на это моего согласия нет» (Из моей записной книжки). — Примечание И. А. Пузыревского.

Заиграл — пропадать приходится, так хорошо.

— Умница, Мишенька!—говорю: — дай поцеловать себя. Я знал, что можешь лучше...

И так-то всякий раз: чем больше рассердится, тем лучше сделает. «Вот на зло же тебе хорошо сделал»—говорит: — «не смей ругаться!..»

Не знаю, так ли поступал Кукольник с Брюлловым. Тот был своего рода Саваофом этой троицы, и если кому из них виделся впереди памятник, то ему, конечно, всех ближе. Как удивились бы они, если б кто-нибудь сказал тогда, что памятник ждет одного Глинку.

Да, таким людям после смерти ставят памятники, а при жизни творят пакости невероятные: калечат их творения на сцене и на концертных подмостках; убивают самую веру в их призвание и устраивают падение там, где их истинная сила... Родятся они всегда раньше срока, эти великие недоноски века, опередившие его и ему недоступные. Идущие на встречу поколения их чувствуют, но большею частью уже на могиле...

Брюллов успел заживо вкусить славы, Кукольника успех на руках носил; только гению Глинки «за могильною чертою» достались и «гимн времени», и «благословение племени»... Глинке выпало на долю быть недоступнее уж и потому, что его искусство, музыка, была менее других искусств доступна времени, выкормленном на молоке итальянских опер и куплетов Верстовского. Еще «Жизнь за царя» кое-как переварились таким слабым желудком, но «Руслан» причинил ему положительную индигестию. Не только офицеры, которых великий князь Михаил Павлович штрафовал назначением в Большой театр, когда давалась эта опера, но сами тонкие ценители и судьи, друзья композитора, не уразумели новых откровений величайшего творения их друга, «Руслана», и произнесли ему приговор: «*mon chère, c'est un oeuvre manqué*» *

Это тому-то «Руслану», за которого особенно и поставлен памятник Глинке!

Я познакомился с Глинкою, когда знаменитое созвездие распалось, Брюллов уже был в могиле, а Кукольник — чиновником особых поручений в военном министерстве. Сверстники М. И. обносились в своих понятиях, высохли в чувствах. На смену им подходило другое поколение и своим молодым восторгом пробуждало его гений. С одним из таких новопоставленных¹ он проживал в Варшаве, куда бежал от петербургских шипов к розам хорошеньких полек... и их «мазурёчкам». Больной нервами, не говоривший ни о чем, как только об этих нервах («посмотрите, как они у меня болят — видите? неужто не видите? Я — так вижу ясно!»), он хандрил, не пел, не играл, особенно — не сочинял.

— *C'est un génie manqué!* **—отпели его светские попы искусства.

Но не отпела молодежь. И с нею он позабывал хандрить; не так уж ясно видел, как болели нервы; опять пел, играл и даже фантазировал на фортепиано; а там немножко попробовал и сочинять [...]

— С вами я молодею, господа!—говаривал он,—вы что ли приносите мне молодость? Даже мускулы ощущаю...

Ощущать мускулы составляло для него поверку своих физических сил, и поверку эту он производил на том самом спутнике, который его отвез в Варшаву и теперь должен был привезти из Варшавы. Спутник этот особенной точностью не отличался [...] и ждать его возвращения приходилось долго. Наконец-таки, дождались. Дождались и решили созвать близкую молодежь на квартире привезшего, которого М. И. за его юркость прозвал «егозкой».

* «Мой милый, это неудавшееся произведение» (франц.)

** это неудавшийся гений (франц.)

М. И. дал себя охотно привезти, даже говорил, что рассчитывает на «порцию удовольствия» (его любимое выражение) от вечера с молодыми друзьями [...].

Мне приходилось в первый раз увидеть творца «Руслана», и я с трепетом поднимался по лестнице. В комнате уже было изрядно накурено, когда я вступил в нее. Прямо против двери, за раскрытым всею крышкою роялем я увидел небольшого, плотного, с высокой грудью человека лет за сорок, без сюртука. Полоска темных бакенбард как будто обвязывала его слегка одутловатое лицо с пренебрежительными, не то кислыми губами, над которыми нависали жидкие усы. Глаза, наполовину прикрытые веками, светились огоньками, поминутно прорывавшимися наружу. Голова, в темных, густых и гладких, довольно длинных волосах, на открытой короткой шее, была несколько закинута назад.. От быстрого движения коротких крепких рук по клавишам мелькали рукава рубашки [...]

Да, это был, наконец, он.

Он кончил [...] потом обвел комнату почти совсем прикрытыми глазами и, увидав вошедшего со мною очень молодого и красивого юношу, прямо направился на него.

— Какой милый образ! — произнес он, расставляя руки, — позвольте вас облобызать!

Затем он обратился к присутствующим: «Полагать надо, изъяны немаловажные нашим барыням чинит... Как оно по-науке то, милостивый мой государь, егозка, выходить должно?».

«По-науке» было изречение какого-то школьного учителя Глинки, Колмакова, языком и приемами которого он говорил, когда бывал в духе.

— По-науке, — подхватил «егозка» (на нем лежала обязанность давать заключения на вопросы «по-науке», вроде того, как дают их «по-существу»), — по-науке, я полагаю, непременно чинит. А Колмаков что говорит по этому поводу?

— «Говорю (тут Глинка заморгал глазами и заговорил сильно на о, выжимая из себя каждое слово), — говорю и повторяю: се есть бич, ниспосланный небом на мужии людстии. Сказал — довольно!»

И, вздернув плечи, заложивши большие пальцы рук за подтяжки, с закинутою назад головою, козырем пошел по комнате [...] и опять за рояль.

Когда в час веселый откроешь ты губки...

Запел он... и кончил:

Хочу целовать, целовать, целовать!..

да так выразительно, что женщина [стоявшая у рояля] уже, было, потянулась к нему, приняв за личное желание композитора. Но он удовольствовался произведенным впечатлением и не нанес поцелуев действием [...].

Шопен и Глюк — его любимцы (кроме себя, он только их и играл) — выступают на клавиши. За ними идет уже что-то неопределенное, неуловимое, прихотливо-вдохновенное, такое, от чего занялся дух у всех нас и что унесло нас куда-то, — неведомо куда, — из холостой накуренной комнаты петербургского холостяка [...] с роялем, нанятым помесячно, но превращенным коротенькими мелькающими по его клавишам руками в источник властных, неслыханных, все покрывающих звуков... Пальцы словно бродят, мечтают... голова закинута далеко назад, глаза полузакрыты... импровизация призраками скользит и исчезает, набегает

снова, опять исчезает и набегаёт, покуда пальцы не соскользнут с клавишей и руки не повиснут...

В игре Глинка не было ничего декоративного, концертного — ничего напоказ. О методе, беглости, силе, — всего этого приклада публичного исполнения, ни на минуту не приходила мысль, когда за роялем сидел Глинка. Это было обаяние высшего разряда. Блестящих и особенно гремящих пианистов он не выносил: — «звучно, — говорил он, — однако же, не благо-звучно». Когда пробовали вызвать его сказать что-нибудь о Листе, — то рассказывал за него Колмаков: — «говорю — тицом худ, волосом длинен и белокур. Сел: в одной руке жупел, в другой дреколья. Взы-грал: зала потряслася и многие беременные женщины по-выкидывали. Сказал — довольно!»

...Глинка опять козырнул по комнате и уже опять у рояля — поет в виде отдыха.

— Двадцать лет у меня с плеч сегодня, господа! — говорит он. — Егозка, господин, что докладывают мускулы?

И он принимается тузить хозяина.

— Что докладывают? спрашиваю — по-науке...

По-науке, оказывалось, мускулы докладывали отлично.

— Говорю: удостоверился — довольно!

Удостоверясь в мускулах, М. И. окончательно расхотелся: сел за рояль и начал показывать, какая будет в оркестре сочиняемая им в то время фантазия на камаринскую. Он подыгрывал губами, ударял по клавишам обеими пятернями в пассажах tutti, пристукивал каблуками, подпевал, подсвистывал и с поразительной образностью передавал движение и краски инструментов... Когда я услышал впоследствии эту бесподобную по чисто русской забубенности вещь в концерте, то к ней почти ничего не прибавило оркестровое исполнение, даже кое-что поубавило в огне и стремительности передачи.

— А теперь разве чего-нибудь такого, чтоб чуточку Чухляндией запахло, — спросил Глинка и затынул:

Есть пустынный край, безотрадный брег,
Там на севере — далеко...

строфы баяна, запрещенные тогдашнею цензурою за то, что были посвящены Пушкину, который осмелился умереть на дуэли...

Это «далеко», как бесконечная, однообразная северная даль, протянулось однообразным звуком и где-то пропало, как она, в бесконечности.

Все бессмертные — в небесах!! —

поднялся, кончая песню, тот же звук, но уже, воспрянув к самым небесам и оборвавшись, — разом упал на землю...

Носовой, разбитый тенор композитора, за который его не взяли бы в хористы, рассыпал такие чары выражения, после которых самые сладкозвучные певцы не смели петь того, что им было спето...

Любви роскошная звезда,
Ты закатилась навсегда!..

почти возопил он следом — ария, про которую он говорил: «это моя тоска!». И хоть она написана для женского голоса, — после него не было возможности слышать ее, какая бы певица ни пела...

За холостым ужином, в шутках, островах и выходках всякого рода он не отставал от молодежи, «получая порцию удовольствия» каждый раз, когда удавалось кому-нибудь меткое уподобление или рассказывался веселый анекдот. Сам он таких «порций» доставил больше всех!

между прочим, уподобил сквозному ветру, которого терпеть не мог, певицу Степанову за ее неприятный и резкий голос...².

Перед тем как расходиться, его усадили-таки еще за рояль, и он простился с нами романсом:

Прощайте, добрые друзья!
Нас жизнь раскинет врассыпную...

и когда кончил:

И той семье (семье друзей) не изменю,
На детский сон не променяю;
Ей песнь последнюю пою,—
И струны лиры обры-ва-ю!!!.

с одуряющим взрывом на последнем слове, и оборвал аккордом в обеих руках, то, обведя всех огоньками своих глаз, встретил уже слезы на всех глазах...

Таких ночей не выдается по несколько в жизни!...

Я не стану описывать последующих встреч с Глинкою: все они походили на первую. Расскажу только последнюю, которая на них мало походила.

В начале пятидесятых годов М. И. вернулся из Испании³. Из Испании он вернулся гораздо худшим, нежели года два назад из Варшавы. Он состарился, никуда не выходил, брюзжал и гас под старческими недугами и равнодушием общества. Той же самой «егозке» предстояло развлечь его напоминанием о хорошем времени, когда он молодец среди молодых поклонников. Большая часть их успела пережениться, и первый «егозка». Последнее обстоятельство делало успех предприятия, если не труднее, то, во всяком случае, сомнительнее: жены понравятся — прекрасно,—Глинка развлекется, даже приедет; не понравятся — пуще забрюзжит, закутается в халат и не снимет ермолки с головы ни за что на свете — не приедет. Выбрали из числа молодых супругов таких, которые должны были понравиться (первым условием этого было, что они не напоминали ничем покойной супруги М. И.), и поехали.

Прием поначалу был не ободрителен: хозяин съезжился, как мимоза-сензитива от прикосновения (мимозой он и сам называл себя); его губы складывались кисло и веки закрывались... Ехать он отказывался: у него болели нервы. Он негостеприимно спрятал правую руку под жилет и отошел к роялю, у которого толпилось несколько волосатых молодых людей из музыкального мира, в том числе Серов. Оставалось убираться; но предварительно следовало отдать поклон сестре М. И., Людмиле Ивановне, у которой он жил и состоял под началом. От нее зависело почти более, чем от Глинки, чтоб он приехал. Отпустит она — еще, может быть, приедет, а не отпустит,—пиши пропало. Она отпускала,—перед вечером (теперь его укладывали спать рано) и с тем, что будут прежние друзья. [...] Привезли его закутанного; сквозной ветер, который он не любил теперь пуще певицы Степановой, изгнали чуть ли не из целого околотка; бережно усадили, как больного, в большое кресло и принялись осторожно развлекать на старый лад [...] уже кресло подкатили к роялю [...] Как вдруг все пошло прахом. На пороге показалась нежданная гостья — блондинка с детски-недоумевающим лицом—и впиалась в Глинку своими голубыми, как незабудки, глазами. Губы его кисло сложились, точно лизнули чего-то неприятного; рука исчезла за жилет, и мимоза съезжилась, как будто на нее наступили.

— А, ведь, хорошенькая? — попытался исправить дело хозяин, но напрасно.

— Иже херувимы тайно образующе,—проговорил брезгливо гость,—терпеть не могу таких.

Увы! блондинка напомнила ему жену — и вечер был испорчен.

Бедный больной и вообще-то теперь почти ничего и никого не мог терпеть. Он и самого себя выносил с трудом; тяготился известностью, почти обижался, когда в нем видели не Михаила Иваныча, а композитора, и сердился, когда заговаривали об его сочинениях. [...]

И Глинка[...] захирел и погас, как светильник, устроенный не для того, чтоб тлеть, но чтоб гореть пламенно и сокрушительно — или уж не гореть вовсе⁴.

А. Я. ПАНАЕВА

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

...Старшие мои сестры и тетки вели затворническую жизнь, всегда сидели в своей комнате, им не дозволялось входить в зало, когда по вечерам собирались гости. Отец и мать¹ обедали с гостями отдельно. Этот порядок мать завела давно, как только дети стали подрастать. Но Глинка нарушил это затворничество. Панаев его познакомил с отцом. Глинка ставил свою оперу («Жизнь за царя»), и у нас устраивались спевки и репетиции: приезжали Петров, Воробьева, Леонов (Шарпантье), Степанова, Панаев, младший сын Гедеонова (еще студент)², камер-юнкер Хрущев, состоявший по особым поручениям у министра двора, автор либретто оперы барон Розен, не пропустивший ни разу этих собраний. Он упивался своими стихами и посматривал многозначительно на Панаева, как на литератора, который должен оценить его стихи. Розен пренаивно приписывал успех оперы Глинки своим стихам.

Когда Глинка стоял возле барона Розена, то выходил сильный контраст. Глинка был маленького роста, смуглый, живой, с хохолком на лбу, а барон Розен — тип немца, высокий, неподвижный, с маленькой головой, с прилизанными светлыми волосами и светлыми голубоватыми глазами, имевшими какое-то умильное выражение.

Глинка иногда посреди пения тенора Леонова с силой ударял по клавишам рояля, вскакивал со стула и начинал ходить по комнате, закинув голову и заложив пальцы за жилет. Поуспокоясь немного, он выпивал стакан красного вина, бутылка которого всегда стояла перед ним на рояли. После этих репетиций Глинка очень уставал. Я слышала, как он говорил отцу после ухода певцов, что его опера не может иметь успеха, только одна Воробьева споет роль Вани, как следует.

— Это редкая певица, — говорил он, — такие голоса появляются на сцене веками. Надо беречь ее, как драгоценность! А вот она в дождь, в слякоть поехала домой на извозчике, ну, долго ли ей простудить горло! Дирекция ваша — олухи, такой певице надо было бы назначить большое жалованье, а не грошовое, чтоб она имела комфорт! Дураки!..

Глинка горячился, говоря это.

— Разве Петровым вы недовольны? — спросил отец.

— Чувства нет, голос деревянный!..³ Степанова поет верно и голос большой — огня нет! А уж кто провалит меня, так это Леонов. Где нужна сила голоса — он сипит.

Однако успех «Жизни за царя» был блистательный.

В первые годы моего замужества, то есть в начале сороковых годов, Глинка как-то периодически бывал у нас: то зачастит ходить каждый день, то перестанет. У нас он сочинил романс «В крови горит огонь желанья». Мы сидели за вечерним чаем, было несколько человек гостей.